

Дж. Г. Байрон

Паризина.

Предисловие **П. О. Морозова**,
перевод **Аполлона Григорьева**

Источник: Байрон.
Библиотека великих писателей под ред. С. А. Венгерова. Т. 1, 1904.

Скропу Бердмору Дэвиссу, Эсквайру,

нижеследующая поэма посвящена долголетним поклонником его таланта, признательным за его дружбу.

Января 22-го 1810.

Предисловие.

Нижеследующая поэма основана на происшествии, рассказанном в "Antiquities of the House of Brunswick" Гиббона. Я вполне понимаю, что утонченный и требовательный вкус современных читателей может счесть подобные сюжеты недостойными поэтической разработки. Греческие драматурги и некоторые из наших лучших английских писателей были другого мнения, также как в более недавнее время и писатели других европейских стран, Альфиери и Шиллер. Нижеследующая выписка из Гиббона выяснит факты, на которых основана поэма. Николай переименован в Азо для удобств стихотворной формы. "В царствование Николая III-го Феррара была осквернена дворцовой драмой. Маркиз д'Эсте узнал по доносу одного из приближенных и по личным наблюдениям о преступной любви своей жены Паризины и своего незаконного сына Гюго, прекрасного и храброго юноши. Они были обезглавлены в замке по приговору отца и мужа, который открыл всем свой позор и пережил их казнь. Он был несчастлив, если-бы они и были виновны; если-же они были невинны, то несчастье его было еще более велико и я не могу себе представить положения, в котором искренно признал-бы за родственником право казнить своих близких". Gibbon. Miscellaneous Works, vol. III, стр. 470.



ПАРИЗИНА.

Последняя и самая короткая из шести поэм, написанных и изданных в течение четырехлетнего промежутка, отделяющего вторую половину "Чайльд-Гарольда" от первой. - "Паризина" была прислана Байроном своему издателю Муррею в начале декабря 1815 г. и вышла в свет в феврале 1816 г.

В более ранних поэмах ("Гяур", "Абидосская Невеста", "Корсар", "Осада Коринфа") Байрон все еще находился под впечатлением своего путешествия по европейскому Востоку, так красноречиво описанного в первых двух песнях "Чайльд-Гарольда", - и, так сказать, поэтически переживал воспоминания о Греции и Турции. Теперь его мысль обращается к другой стране, - к стране, которой он еще не видел, но которой мечтал, как о цели своего ближайшего путешествия: его поэтическое творчество вдохновляется отрывком из старой феррарской хроники XV века и воспроизводит в яркой картине одно из тех романтических событий, которыми так богаты летописи средневековых итальянских государств. Исторический факт, послуживший основой для поэмы и кратко изложенный самим поэтом в предисловии, в виде цитаты из Гиббона, более подробно передается старинными хронистами. Феррарский маркиз Николай Эсте имел от Стеллы дель-Ассассино незаконного сына Гуго. В то время, когда последнему было уже около двадцати лет, маркиз женился на Паризине Малатеста, которая, к великому огорчению своего мужа, сначала относилась к пасынку очень недружелюбно. Однажды Паризина отпросилась у мужа в какое-то путешествие; маркиз согласился, но с непременным условием, чтобы ее сопровождал Гуго, надеясь, что более близкое знакомство с молодым человеком развеет ее предубеждения против него. И в самом деле, Паризина не только изменила свое прежнее мнение о Гуго, но между нею и пасынком скоро установилась самая тесная дружба, перешедшая затем в любовную связь. И вот, несколько времени спустя, один из слуг маркиза, по имени Дзозе или Джорджио, проходя мимо комнат Паризины, наткнулся на выбежавшую оттуда в слезах служанку: девушка жаловалась, что госпожа ее прибила и в порыве гнева прибавила, что ей легко было бы отомстить за эти побои разоблачением отношений мачехи к пасынку. Слуга пересказал об этом маркизу. Последний стал искать случая удостовериться в измене своей жены и скоро убедился в своем позоре, подсмотрев из засады свидание Паризины с Гуго. В страшном гневе, он тотчас же приказал арестовать виновных, вместе с несколькими слугами и служанками, которые им содействовали, и немедленно предал их суду. Судьи постановили смертный приговор. Впрочем, некоторые из них, между прочим всесильный любимец маркиза Угоччионе Контрарио и его старейший, заслуженный министр Альберто даль-Сале, высказались за смягчение участи подсудимых. Со слезами, на коленях, они умоляли маркиза о помиловании, приводя всевозможные доводы и особенно убеждая скрыть от народа это позорное происшествие. Но маркиз, ослепленный яростью, не захотел их слушать и приказал сейчас же привести приговор в исполнение. Ночью 21 мая 1425 г. в подземной тюрьме замка были обезглавлены сначала Гуго, потом - Паризина. Последнюю вел к месту казни тот самый Дзозе, который выступил ее обвинителем. Паризина все время была уверена, что ее заключат в тюрьму, и на каждом шагу спрашивала, скоро ли ее приведут на место. Когда же ей сказали, что ее ожидает плаха, - она спросила, какая участь постигла Гуго, и, узнав, что он уже казнен, воскликнула: "В таком случае, я и сама не хочу жить!". Подойдя к плахе, она сама сняла с себя все украшения и, обернув голову покрывалом, покорно подставила шею под роковой удар. Маркиз не спал всю ночь, ходя взад и вперед по комнате, и когда ему донесли о смерти Гуго, разразился рыданиями и в отчаянии воскликнул: "Зачем я не умер вместе с ним! Зачем я так поспешил решить судьбу своего сына!". Он перегрыз зубами палку, которую держал в руках, и всю ночь провел в слезах и столах, призывая своего милого сына... На следующий день, успокоившись, он признал необходимым оправдать себя перед народом, так как этого происшествия невозможно было скрыть: он приказал изложить все дело на бумаге и разослать всем итальянским дворам. Получив это известие, венецианский дож Франческо Фоскари приказал, без объяснения причин, отменить приготовления к турниру, который был назначен на площади св. Марка, под председательством маркиза, по случаю получения им титула герцога. Жажда мести побудила маркиза отдать приказание, чтобы несколько замужних женщин, заведомо неверных своим мужьям, были обезглавлены так же, как и его Паризина. Этой участи подверглась, между прочими, Барберина или Лаодамия Ромеи, жена придворного судьи, которая и была казнена публично.

Первым по времени литературным отражением этих кровавых феррарских событий была драма Лопе де-Веги "Наказание без мщения" {El Cástigo sin Venganza, рус. перев. С. Ф. Юрьева, в книге: "Избранный испанский театр", М. 1868.}. Испанский драматург, по своему обыкновению, отнесся к историческим фактам совершенно свободно, видя в них только сюжет для пьесы; действующим лицам он дал произвольные имена и вместе с тем изменил и мотивы, и самую обстановку действия. Феррарский герцог Лодовико посватался за принцессу Кассандру и, получив согласие ее родителей, посылает за нею своего побочного сына Федерико. Последний, встретив Кассандру, узнает в ней свою бывшую невесту, - и молодая женщина, вынужденная отдать свою руку старому герцогу, оказывается не в силах устоять против обаяния юноши, бывшего предметом ее первой любви. Герцог скоро узнает о связи своей жены с Федерико; он не желает им "мстить", но решает их "наказать", притом - так, чтобы никто не догадался об истинной причине их гибели. Он связывает Кассандру по рукам и по ногам, привязывает ее к креслу и закрывает ей голову, а затем, призвав сына, говорит ему: "В той комнате лежит связанным мой враг; поди и убей его". Федерико исполняет волю отца, который, отрубив голову убитой, показывает сыну, кто был его жертвой, и тотчас же приказывает своей вооруженной страже убить Федерико за то, что тот убил свою мачеху.

Испанская драма, по всей вероятности, осталась неизвестною Байрону, вообще мало знакомому со старым испанским театром, - иначе поэт, конечно, упомянул бы о ней в предисловии, наряду с названными там "греками", Шиллером и Альфиери. Тем не менее, в поэме Байрона, как и в драме Лопе, мы видим одну общую черту, которая не заимствована из итальянской хроники (там ее нет), а очевидно - подсказана обоим поэтам их собственной мыслью: Паризина, как и Кассандра, была когда-то невестой того юноши, отцу которого она впоследствии должна была отдать свою руку. В этом - источник их взаимных отношений и отчасти оправдание виновных. Другая черта байроновской поэмы, уже совершенно оригинальная, ни откуда не заимствованная, заключается в том, что муж узнает о неверности Паризины не от доносчиков, как в хронике и у Лопе, а от нея самой: она сама, во сне, как лэди Макбет, сознается в своей вине, произнося имя своего возлюбленного...

Подобно испанскому драматургу, Байрон отнесся к летописному рассказу вполне самостоятельно; на канве этого рассказа он создал собственную поэму, независимую от каких бы то ни было литературных образцов, и если в своем предисловии ссылается на некоторые из них, то делает это вовсе не в оправдание своих "заимствований", которых в данном случае и не было, а с совершенно иною и постороннею целью. Упомянув о "греках", поэт, конечно, имел в виду эврипидовского "Ипполита", где также изображается любовь мачехи к пасынку; но сходство между Федрой и Паризиной - только внешнее, и вся основа греческой трагедии совершенно иная. Гораздо ближе подходит "Паризина" к другому, также указанному автором, образцу, - к трагедии Шиллера "Дон-Карлос": здесь мы уже видим и внутреннее тождество основного мотива, и сходство отдельных перипетий, насколько последние обрисовываются в сжатом рассказе английского поэта. Наконец, ссылка на Альфиери относится, очевидно, к трагедии "Мирра", сюжетом которой служит любовь брата к сестре. Между этой трагедией и байроновской поэмой нет ничего общего, - и ссылка на итальянского поэта понадобилась, без сомнения, только для того, чтобы успокоить не в меру щекотливую английскую критику, лицемерная мораль которой непременно должна была возмутиться "нечестивым" сюжетом поэмы Байрона. И в самом деле, уже издатель Байрона, Муррей, получив рукопись "Паризины", был несколько встревожен ее содержанием и успокоился только тогда, когда заметил, что поэма переписана для печати "нежной рукой" самой лэди Байрон. Отбросив предубеждение, он не замедлил признать эту поэму "перлом огромной цены"; "она интересна, патетична, прекрасна, и, знаете, я готов даже сказать, - нравственна", писал он. Уорд, прочитавший "Паризину" в рукописи, и Исаак Дизраэли, слышавший ее в чтении Муррея, пришли в восторг от ее достоинств; а Джиффорд, довольно строго разобравший, незадолго перед тем, "Осаду Коринфа", заявил, что Байрон не написал до сих пор ничего лучше "Паризины".

Однако далеко не все критики съумели настолько освободиться от традиционного английского "кэнта", чтобы судить о новом произведении поэта по его достоинствам, не примешивая к своим суждениям лицемерно-нравоучительных тирад. Появление "Паризины" как раз совпало с тем временем, когда все общество заговорило о Байроне по поводу его развода с женой и когда явившийся в печати его стихотворения, вызванные этим семейным разладом, злорадно комментировались многочисленными недругами поэта. Понятно, что "кэнтисты" (как называл их сам Байрон) не упустили удобного случая обрушиться на "безнравственную" поэму и ее автора. Один журнал нашел, что содержание "Паризины" "так отвратительно, что его нельзя окрасить никакими гениальными стихами"; по словам другого журнала, Байрон описал "прелюбодеяние, которому нет имени"; третий, наиболее мягкий в своих отзывах, упрекнул поэта за "тягостное впечатление от крайне неприятного сюжета повести". Байрона почти единогласно обвинили в том, что он позволил себе сочувственно изобразить в высшей степени безнравственный поступок и таким образом выступил как бы защитником виновных, не заслуживающих никакого снисхождения. И это обвинение до такой степени отвечало вкусам и понятиям английской публики, что даже и в наши дни новейший издатель Байрона считает необходимым сказать несколько слов в оправдание смелого поэта, указывая на то, что Байрон, как представитель "искусства для искусства", стоял выше своего века и относился равнодушно не к морали (ибо развязка его поэмы вполне моральна), а к навязываемой писателю обязанности морализировать и поучать своих читателей. "Он выбрал своим сюжетом скорбную повесть любви и преступления и, не заботясь ни о каких посторонних соображениях, передал эту повесть в очаровательных, гармонических стихах. Он не извиняет и не осуждает любви Гуго и Паризины; он предоставляет участников этой драмы их собственной судьбе. Вот это-то отрешение поэта от нравоучительных соображений и возмутило и разсердило "кэнтеров". Современный читатель, не увлекаясь и не возмущаясь сюжетом рассказа, с удовольствием остановится на его поэтической силе и красоте. Байрон взял факты в их "исторической наготе", но съумел дать им изящное, блестящее и мелодичное одеяние."

К этому можно прибавить, что современный читатель, свободный от старых литературных предрассудков и лишь с улыбкою вспоминая о той суматохе, какую натворил, три четверти века тому назад, в нашей мирно-дремавшей "изящной словесности" Байрон, - этот, по выражению наших тогдашних классиков, *vir ingenii summi, pietatis nullius* {Слова Надеждина в его латинской

диссертации о романтической поэзии.}, - особенно поражается крайнею сдержанностью и осторожностью в отношении поэта к изображаемой им страсти, заставившей влюбленную пару позабыть в чад увлечения все на свете. В поэме мы видим скорее только намек на эту страсть, нежели действительное ее изображение; Байрон ограничивается лишь немногими, существенно необходимыми словами - и быстро ведет свой рассказ к роковому, кровавому концу. В полном и ярком освещении является перед нами только образ прекрасного, пылкого юноши Гуго. Бледный как мертвец, но без страха и раскаяния, стоит он перед своим грозным отцом и безличными судьями; он пришел не за тем, чтобы умолять их о милости; нет, он готов спокойно разстаться с тою жизнью, которую дал ему отец, осуждающий теперь его на смерть; он не дрогнув понесет свою голову на плаху; но пусть же топор, который упадет на эту голову, поразит глубокой раной и сердце его отца: ведь этот преступник, так безжалостно осуждаемый, - плод незаконной, преступной связи, сын женщины, обезчещенной тем самым отцом, который теперь хочет казнить его, казнить за то, что этот сын страсти унаследовал от него горячее, неукротимое сердце... В речи Гуго встает призрак рокового возмездия детям за грехи отцов и отцам - за грехи детей; в его словах звучит грозный голос судьбы, голос вещей Кассандры, предсказывающей Агамемнону гибель в минуту высшего его торжества. И после такой речи - что могла бы сказать в свое оправдание Паризина, эта несчастная жертва наследственной страсти? Она пытается говорить, но силы покидают ее, и она падает, как мертвая. Поэт заставил ее страдать безмолвно, потому что ее слова, каковы бы они ни были, могли бы только ослабить впечатление резкой и содержательной жалобы сына...

Страшная повесть развивается с удивительной силой и быстротой: мы еще не успели придти в себя от горячей, страстной речи Гуго, в наших ушах еще звучит тот пронзительный крик, с которым рухнула на землю Паризина, подобно собственному мраморному изваянию, как уже раздается заунывный звон монастырских колоколов, зовущих осужденного на смерть, а народ - на молитву за его грешную душу. Следует подробная картина казни; на плахе умирает один только Гуго: Байрон, видимо, не желал повторяться - и, в отступление от исторического рассказа, не повел свою Паризину на эшафот; она таинственно исчезает - неизвестно куда; с этого рокового дня никто и никогда не слышал о ней ни слова, - и пусть воображение читателя само объясняет это исчезновение какими угодно подробностями. Этот художественный прием придает заключению поэмы особенную прелесть.

"Паризина", как уже сказано было выше, отличается от других поэм Байрона особенною мелодичностью стиха. Первая глава поэмы была в свое время положена на музыку и долго распевалась, как один из любимых романсов. Да и вообще вся поэма, при своей сжатости, лаконичности, действующая на читателя не столько определенными оборотами речи, сколько намеками, вызывающими то или иное настроение, представляется скорее музыкальным произведением, рядом быстро сменяющихся одна другую симфонических картин, - как будто сама Италия, еще не виденная, но уже прочувствованная поэтом, отозвалась в его чуткой душе своей родной стихией, - музыкой...

П. Морозов.





Painted by E. C. Wood.

Engraved by W. Finden.

И жадно слушает не соловья она,
Хоть трепетного вся вниманія полна
She listens—but not for the nightingale
Though her ear expects as soft a tale

Рис. Вудъ (E. C. Wood), грав. В. Финденъ (W. Finden).

ПАРИЗИНА.

I.

То час, когда из-за ветвей

Трель соловья дрожит звончей;

То час, - когда так звучно-тих

Влюбленный шопот уст молодых;

И тихий ветер, и плеск волны
Для слуха чуткого полны
Какой-то музыки живой,
И каждый цвет блестит росой,
И в небе звезд сверкает рой,
И синева воды темней,
И гуще мрак в сени ветвей,
И дымкой свод небес одет.
То - полумрак, то - полусвет...
То час, как под закат дневной,
Прозрачной мглою заревой
Все будто флером обвито;
То час, пока еще луной
Мерцанье сумерек не вовсе залито!

II.

Но не затем, чтоб слушать водопад
Прокралась Паризина из палат;
Не с тем, чтобы глядеть на свод ночной
Синьора бродит в тишине немой,
И в княжеской беседке Эстов - вряд
Она цветов в себя вдыхает аромат.
И жадно слушает не соловья она,
Хоть трепетного вся внимания полна,
Как будто сказке слухом отдана...
Вот шум шагов за чащею ветвей:
Бледнеют щеки... сердца стук слышней...
Вот в шелесте листов речь ясно раздалась...
Кровь снова прилила и грудь приподнялась!
Еще минута... близок срок...

Прошла - и он у милых ног.

III.

И что для них весь мир кругом
С его движеньем, ночью, днем?
Вся жизнь и неба и земли
Для них ничто в блаженный миг;
И чужды, будто в гроб сошли,
Они всему: вблизи, вдали
Кругом... как будто кроме их
Нет на земле других живых.
И дышат, и живут они
Один другим - за всех одни!
Их вздохи самые таким
Полны блаженством, что разбить
Оно безумием своим
В груди могло бы сердце им,
Когда б не краткий длилось миг.
Опасность, страх, позор, вина,--
Ничто не возмущает их
Тревожно-сладостного сна.
И кто ж из нас, кто страсти знал,--
Иль медлил, или трепетал
В подобный миг, иль думать мог
О том, что краток счастья срок?
Увы! и так оно пройдет
Скорей, чем мысль родится в нас,
Что быстротечен счастья час,
Что светлый сон уж не придет.

IV.

И медлен и тосклив их взгляд:
Они спешат и не спешат
Преступных радостей приют
Покинуть. Тщетны клятвы их
И обещанья встреч других:
Грызет их мука, словно тут,
Теперь - разлуки вечной миг!
Объятья, вздохи без конца...
Хотят, как будто навсегда
Сковавшись, замереть уста...
Ея прекрасного лица
Прозрачный очерк весь облит
Сияньем неба заревым:
И небо - Паризина мнит -
Греха их не отпустит им.
А с неба строго так глядит
Судьею каждая звезда!
Объятья, вздохи без конца
Их приковали б навсегда
К свиданья месту... но давно
Ждет Паризину сень дворца.
Урочный час - и суждено
Разстаться им: в груди с тоской,
С боязнью мрачно-ледяной,
Со всем, что следовать должно
За грешным делом, за виной.

V.

Уходит Уго, чтоб искать
На ложе одиноком сна

И по чужой жене сгарать
Греховным жаром; а она
Главу преступную должна
К груди супруга приклонить...
Но сон ея - горячки сон,
Греховных чувств исполнен он:
Их обличает жар ланит.
Она в забвеньи страстных грез
Лепечет громко имя то,
Которого бы ни за что
И шопотом не произнес
Ея язык при свете дня.
Супруга жмет к груди она,
Полна мятежного огня...
А он, объятъем пробужден,
Блажен мечтою, - грезы сна,
И страстный вздох, и неги стон
Душой готов благословить
И слезы умиленья лить
О том, что и во сне жена
Ему так страстно предана.

VI.

Он к сердцу спящую прижал
И ловит смутный шопот слов,
И слышит... Что ж затрепетал
Князь Адзо, будто услышал
Архангела последний зов?
И прав он... Приговор страшней
Ему едва ли прозвучит

И над могилой, как из ней
Глас судии ему велит
Возстать, чтоб век уже не спать
И перед вечный трон предстать.
Да, прав он... Мир его земной
Единым звуком весь разбит:
Невнятный лепет речи той -
Ея вина и Адзо стыд!
И чье же имя?...

Раздалось

Оно в ушах, как страшный стон
Волны, которою разбит
Челнок, и путник, на утес
Заброшенный, вновь погружен
Навеки в хлябь морских валов
И не воротится... Таков
Удар, который нанесен
Тем именем душе его...
И чье же имя?

Про кого

Не мог бы грезить даже он!
То имя - Уго... сына той...
Любимой прежде... Сын родной,
Плод страсти, плод мятежных лет,
Минувшего живой упрек,
Грех юных дней, когда увлек
Он сердце Бьянки и обет
Безжалостно нарушить мог,
Обет, когда-то данный ей,--

Доверчивой в любви своей.

VII.

Кинжал извлек он из ножен,
Но трепетно в ножны опять
Сталь хладная опущена...
Ее убить не в силах он!
Пусть недостойна жить она,
Но - так прекрасна!... И притом,
Она с улыбкой тихим сном
Забылась. Он не разбудил
Ея... а только устремил
На спящую он взгляд такой,
Что еслиб, пробудясь от сна,
Взгляд этот встретила она,
Ее оледенил бы он
На вечный, безпробудный сон.
У князя по челу течет,
Густыми каплями блестя
При свете лампы, хладный пот..
Она-ж замолкла. Но хотя
Теперь безпечно спит она,
А жизнь ея изочтена!

VIII.

Заутра же - допрос. Вины
Клятвопреступницы-жены
Улики хочет он собрать,
И от придворных слышит сам
Все, что страшился он узнать:
Свой несомненно-явный срам...

Себя одних хотят спасать
Ея сообщницы. Боязнь
Велит им все - вину, и казнь,
И стыд - лишь на нее слагать.
Утаек нет. До мелочей
Раскрыто все, чтоб был верней
Разказ; и больше ничего
Душе измученной его
И слуху не осталось ждать,
И чувствовать, и узнавать...

IX.

Он не из тех, перенести
Чтоб мог отсрочку мщенья... Вот
В совета зале, посреди
Вельмож, возсев на трон, зовет
Чету преступную на суд
Владыка рода Эстов. Их
Обоих скованных влекут.
Так оба юны; так из сих
Виновных дивно хороша
Одна... и как, Спаситель мой,--
Какой судьбой,
В цепях и тяжело дыша,
Перед отцом здесь сын родной
Стоит, как пред судьей?
Пред властелином Уго здесь;
И гнев его изведать весь
И слышать приговор
Из уст отцовских должен он...

Но пусть защиты он лишен
И пусть в цепях... До этих пор
Его язык был нем, а взор
Лишь гордый выражал укор.

Х.

Тиха, безмолвна и бледна
Перед судом стоит она...
Как взгляд очей ея живых,
То говорливых, то немых
И неги полных, вдруг поблек!...
Еще вчера, горя огнем,
Своих лучей блестящий ток
Он разливал на все кругом.
Еще вчера свое копье
Готов был каждый за нее
Из знатных рыцарей сломать,
Когда б лишь взором повела...
Еще вчера перенимать
Ея улыбки, тон речей
Готова каждая была
Красавица, чтоб подражать
Владычице своей.
Когда б в очах ея печаль
Туманной влагой разлилась,
Наверно не одна бы сталь
Для отомщенья извлеклась
Тому, кто взор ея в те дни
Мог омрачить хотя на миг.
А ныне кто она для них,

Кто ныне для нея они?
Теперь - властна ль она велеть?
Возможно ль им на зов лететь?
И равнодушны, и молчат
Они, и клонят долу взор,
Сложивши руки, иль таят
Вражду, презренье и укор
В движеньи губ, в усмешке злой...
О, Паризина! вот твой двор!
А он, а тот... избранник твой,
Чей меч недавно ждал одних
Полу-велений глаз твоих...
Он, кто, - свободен будь на мигь,--
Твою свободу б искупил
Иль в битве голову сложил?...
Жены отца любовник, он,--
Так, как и ты, обременен
Цепями тяжкими, - не зрит,
Как влага слез твой взор мутит,--
Слез, проливаемых тобой
За жребий друга, не за свой...
И веки нежные твои,
По коим тонкие ручьи -
Извивы жилок разлились
Всею темной синевою струй,
Маня уста на поцелуй,
Как будто налиты свинцом,
Не осеняют - давят взгляд:
Под ними слезы лишь кипят

И накипа - бьют ключом.



СВИДАНЬЕ ПАРИЗИНЫ и УГО (The Meeting of Hugo and Parisina).

Рис. Корбу (Edward Corbould), грав. Стюарта (Stodart).

XI.

И он... он плакал бы о ней,
Без этих сотен глаз людских,
Следящих зорко их двоих...
Но тут, перед толпой людей,
Его печаль, - как ни была
Тяжка, - как будто замерла!
И сердца Уго тайных мук
Не выдал ни единый звук...
Лишь на нее одну взглянуть
Боится он, чтоб не вздрогнуть.
Воспоминанья прожитых
Мгновений... преступленья их...
Любовь их... правый гнев отца,
Проклятье всех людей честных...
Казнь здесь - и в небе суд Творца...
Ея погибель и позор!...
На смертно-бледное чело
Подруги хоть единый взор
Как мог бы ныне кинуть он?
За все им сделанное зло
В нем грозно поднялся б укор
И вылился в ужасный стон.

XII.

И начал князь:

"Еще вчера

Был горд я сыном и женой;

Сегодня с утренней зарей

Мой сон рассеян. До утра,
До завтра не пройдет, - ни той
И ни другого у меня
Не будет. Жизнь свою до дня
Кончины буду я влачить
Один... Да будет, так и быть!
Здесь никого, - уверен в том,--
Нет, кто б иначе поступить
На месте мог моем.
Союз разорван... и не мной...
Опять скажу я: так и быть!
Внемлите ж суд правдивый мой:
Тебя священник, Уго, ждет;
Затем - за грех расчет.
Ступай, молися небесам!
Быть может, и прощают там;
Но места нет обоим нам
Здесь на земли,
Где б вместе двое мы могли
Хотя единый час дышать...
Прощай же... Не увижу я,
Как будешь умирать...
Но ты, коварная змея,
Ты будешь зреть - клянуся в том -
Его главу под топором!
Иди, развратная жена!
Не я, но ты, лишь ты вина
Убийства. Мучься ж, а потом
Живи, коль можешь пережить...

Тебя я не хочу казнить!"



рисованъ J. W. Wright.

гравированъ W. H. Mole.

ПАРИЗИНА (Parisina).

Рисов. Райтъ (J. W. Wright), грав. Моль (W. H. Mole).

XIII.

И тут суровый князь закрыл
Лицо, затем, что вдоль чела
Пошли следы столь резких жил,
Как будто к мозгу прилила
Вся кровь. И он, угрюм и нем,
Склонился на руки главой,
Чтобы не выдать пред толпой
Своих мучений. Между тем
Окованные приподнял
Преступник руки - и просил
Он слова краткого. Молчал
Князь Адзо, но не воспретил,--
И Уго так заговорил:
"Смерть не страшит меня. Видал
Не раз ты, как, летя на бой,
Врывался вместе я с тобой
В ряды безчисленных врагов...
И попрекнуть меч добрый мой,
Который у меня отъят
Усердием твоих рабов,
Нельзя в бездействии. Навряд
Секире палача пролить
Так много крови, как моей
Рукой, на службе быв твоей,
Крови врагов твоих пролить
Я успевал в единый бой.
"Тобой дана - и пусть тобой

Возьметса ныне жизнь моя,--
Дар, за который много я
Не в силах благодарным быть...
Я никогда не мог забыть
Позора матери, стыда
И смерти... Помнил я всегда
И срам рожденья... И одним
Наследьем было то моим...
Давно она в могиле спит...
Я, сын ея, соперник твой,
Твой сын, - туда же на покой
Сойду за ней; но обличит
Ея безрадостный конец,
Глава, на плахе ныне мной
Сложенная, - как нежен был
Любовник, как любил отец!
"Пускай тебя я оскорбил,
Но - зло за зло... Увы! она,
Твоя законная жена,--
Та жертва новая страстей
Твоих и гордости твоей,--
Ты помнишь, - мне обручена
Была давно... Ты это знал!
Ея красы ты возжелал...
Своим же собственным грехом,
Рожденья моего пятном
Меня унизил ты пред ней,
Как недостойного назвать
Ее невестою своей...

Затем, что имя я не мог
Носить твое и возседать
На троне Эстов!... Но когда б
Еще прожить судил мне Бог,
Блеск славы Эстов был бы слаб
Пред блеском тем, который сам
 Стяжал бы я...
Я меч имел; душа моя
Была способна к небесам
Вершину древа моего
Поднять и Эстов род затмить
Величьем царственным его...
Чтоб шпоры рыцаря носить
Достойно - знатным мало быть...
Мои же шпоры в смертный бой
Пред всей вельможною толпой
Стремили моего коня,
И мчал ретивый конь меня,
И громко неся по полям
Мой клич: "Дом Эстов - смерть врагам!"
"Я преступленье не ищу
Оправдывать, и не хочу
Пощаду вымолить себе,
И не прошу, чтобы судьбе
Самой оставил ты скосить
Остаток, - бедный, может быть,--
Мне предназначенных годов.
Да и зачем? Безумных слов
Не повторить, не возвратить!

Но пусть и низок родом я,
Пускай позор на мне лежит,
Пусть родовая спесь твоя
Меня признать сочла б за стыд...
В моих чертах легко узнать
Отца черты - твою печать.
И все твое в душе моей:
Твоя неукротимость в ней,
Твои... но что ж трепещешь ты
Во мне узнать свои черты?...
Твои оне - моя рука,
Которая, как сталь, крепка,
Моя душа - вся из огня...
Ты мне не жизнь лишь подарил,--
Себя ты перелил в меня!
Смотри ж на плод греховный свой
И казись тем, что породил
Ты сына, сходного с тобой!...
Не выкидыш по духу я:
Душе подобная твоей,
Не терпит уз душа моя.
А жизнь, а дар мгновенный сей,
Который ныне ты судил
Отнять, - ты знаешь, - я ценил
Не больше, чем ценил ты сам,
Когда бывало, свой шелом
Надвинешь ты, и, конь с конем,
По мертвым вражеским телам
Мы мчимся с дерзостным челом.

"И пусть что было - то прошло,
И пусть грядущее могло
Лишь прошлому подобно быть...
А все мне жаль, что жизни нить
Судьба не порвала тогда!
Хоть матери моей стыда
Виновник - ты; хотя всех зол
Причина - ты; хоть под венец
Мою невесту ты повел,--
Я чувствую: ты мой отец!
И приговор суровый твой,--
Он прав, хоть изречен тобой.
Зачат в грехе, позорно я
Умру на плахе: жизнь моя
Окончится, как началась...
Грешил отец - и сын грешил!
Во мне одном обоих нас
Ты ныне право осудил.
Мой грех в глазах толпы людской
Тяжеле: Божий суд - иной!"



— by H. Richter

Engraved by W. Cheralier

РЪЧЬ УГО КЪ ОТЦУ
(And for a brief delay demands
His father ear).

Рис. Рахтеръ (H. Richter), грав. Шевалье (W. Cheralier).

XIV.

Окончил - и спокойно стал,
На грудь сложивши руки, он;
И как-то страшно прозвучал
Цепей тяжелых резкий звон.
И не было ни одного

Из окружавших трон вождей,
До сердца б не проник чьего
Глухой и мрачный звон цепей...
На роковую красоту
Жены-преступницы, на ту
Причину казни и вины,
Вновь взоры всех устремлены!
Как примет - каждый знать желал -
Казнь совиновника она...
Она же, зла всего вина,
Меж тем стояла, я сказал,
Тиха, безмолвна и бледна...
А взгляд ея недвижим был,
Но был открыт. Ни разу он,
Казалось, не был обращен
На чтонибудь - и не бродил
По сторонам; и веки глаз
Ея прелестных хоть бы раз
Сомкнулись, - тению своей
Хоть раз прикрыли б блеск очей!
Нет! обвивали, как кружки,
Своею страшной белизной
Они лазурные зрачки.
Стекло-хладен, нем и дик
Был взгляд ея перед толпой.
Казалось, будто лед проник
В ея свернувшуюся кровь.
Слеза являлась лишь порой...
И, медленно скопившись, вновь

Из-под каймы ресниц густых
Катилась крупная слеза.
Лишь тот, кто видел, тот постиг
Что это было... Слез таких
Людские на земле глаза,
Казалось всем, не могут лить.
Хотела что-то говорить
Она... Глухой, неясный звук
Гортань сухая издала...
И в звуке том слышна была
Вся тягость бесконечных мук.
Замолк он... Что-то ей опять
Хотелось потом сказать,--
И голос слышался, но он
Излился только в долгий стон...
И пала на землю она,
Как тяжкий камень, как порой
С подножья мрамор - лик живой.
Увы, не Адзо то жена,
Сей труп бездушный и немой:
Надгробный памятник скорей,
Надгробный памятник над ней,
Над ней, кого, как жало, страсть
Язвила и к греху влекла,--
Над ней, которая упасть
До преступления могла
И посрамленья не снесла!...
А все жива еще она.
И к тяжким мукам бытия

Вновь слишком скоро призвана
От полусмерти забытья...
Но бедный разум... Напряглись
В ней фибры чувств и порвались...
И в помутившемся от мук
Мозгу все в хаосе слилось!
Как от дождя размокший лук,
Который стрелы мечет вкось,
Безсвязно дикия, как сон,
Рождать лишь может мысли он.
Пустое, белое пятно -
Для ней прошедшее; черно
Грядущее: едва видна
Стезя в нем, да и та темна,
Как путнику, что в час ночной
Тропинки вынужден искать,
Чуть освещаемой грозой.
Она боялась... Понимать
Могла, что ей на душу зло
Теперь какое-то легло,
Как камень, хладно, тяжело.
Что был тут грех, и срам тут был,
Что кто-то скоро тут умрет...
Но - кто?... забыла... Приходил
Вопрос ей: что - она живет,
Иль нет? Земля ли под стопой?
Над нею небо ли?... Кругом
То люди ль собрались толпой?
Иль демонов проклятых рой,

С каким-то злобным торжеством,
Глядит на ту, которой взор
Привык досель встречать кругом
Сочувствие, а не укор?
И все подобно стало тьме
В ея блуждающем уме.
Боязнь, надежды - все слилось
В непроницаемый хаос...
То смех, то слезы - и равно
Во всем безумие одно!
В тяжелый, судорожный сон
Ея разумок погружен...
Его на помощь тщетно звать,
И пробужденья долго ждать!

XV.

Монастыря колокола
Гудят, звонят,
Сливаясь в гул глухой;
На старой башне, прямой как стрела,
Медленно, тяжко, вперед и назад
Качаясь, режут, как жалобный вой.
Тоску на сердце наводит их звон...
Но, чу! раздался и гимн похорон,
Торжественно-мрачен, уныл...
Поминки по том, кто на свете отжил
Иль скоро отжить осужден...
За душу грешника летят
Молитвы к небесам...
Колокола всем зевом гудят,

Куруется фимиам...

Для грешной души настает

Тяжелый миг конца...

Чье сердце от жалости здесь не дрогнет?...

К ногам монаха, святого отца,

Он на землю сырую колени склонил.

И плаха пред ним, и стража дворца

Кругом обступила ее...

И палач рукава засучил,

Чтоб вернее удар его был,

И смотрит: остро ль топора лезвие...

И пробуя, машет своим топором...

И безмолвной и тесной толпою народ

Стекается видеть, как сын умрет,

Родным казнимый отцом.

XVI.

А вечер негой напоен,

Кругом все блещет и цветет;

И, покидая небосклон,

Как бы в насмешку солнце льет

Струи роскошнейших лучей

На этот мрачный день скорбей.

Вечерним светом облило

Оно преступника чело

В тот миг, когда, склонясь во прах,

Смиренно пред отцом святым,

Он в сокрушении перед ним

Кончает исповедь в грехах;

Лобзает крест - святой символ -

И отпущения глагол,
Могущий душу, - сколь она
Грехом ни будь осквернена,--
От смертных пятен всех омыть
И паче снега убелить,
Глагол прощенья, неба зов
Благоговейно внять готов.
Играет солнце в этот миг
Всем золотом лучей своих -
И на главе, склоненной в прах,
И на каштановых кудрях,
На шею падающих; но
Особенно блестит оно
Зловеще-яркой полосой
На глади топора стальной...
Ужасен смертным смерти миг!
И в души зрителей проник
Смертельный хлад... Пусть каждый знал,
Что грех ужасный совершен,
Что прав карающий закон,
Но всяк невольно задрожал...



И пала на землю она
Какъ тяжкій камень...
And to the earth she fell like stone.

Рис. Ричардъ Вестоль (Rich. Westall, R. A.), грав. Эмелиартъ (F. Engelheart).

XVII.

Мольбы послѣднія скончал
Преступный сын, жены отца
Любовник дерзкій; досказал
Грехи, какие только знал,
И пробил час его конца,
И настает послѣдний миг!
Снимают плащ с него долой.
И прядь кудрей его густых

Палач презренною рукой
Уже схватил... Еще одна
Минута - пала в прах она!
В гроб не возьмет он ничего:
Ни тех убранств, в какия он
Был так роскошно облечен,
Ни даже шарфа своего,
Что Паризиной подарен...
С него одежда сорвана...
Повязка взор закрыть должна...
Но нет! Его ли гордый взор
Подобный вынесет позор?
И чувства, что казались в нем
Затихшими, - проснулись вновь;
И закипела в нем вся кровь
Негодования огнем,
Когда глаза ему платком
Палач собрался повязать,--
Как будто б с смертью незнаком
Он был, и прямо ей взирать
В лицо издавна не привык!...
"Нет! пусть цепями связан я,
Пусть вам и жизнь и кровь моя
Обречены, - последний миг
С открытым взором встречу я.
Рази"! И лишь проговорил,--
На плаху сам главу склонил...
И были Уго то слова
Последняя: "Рази!".. Взмахнул

Палач рукой, топор сверкнул -
И покати́лась голова.
И, рухнув, труп кровавый пал
На землю тяжко; побежал
Из туловища крови ток
И напоил, как дождь, песок...
Мигнули судорожно раз
И два - но быстро веки глаз;
На миг раскрылись уста
И затворились навсегда...
Он умер так, как умирать
Всем грешным надо пожелать:
Без шума и без хвастовства!
Он покаянные слова
Читал смиренно; врачевства
Духовного не отвергал,
Не впал в отчаяния грех:
У ног приора преклонен,
Вполне был сердцем отрешен
Он от земных желаний всех!...
Отец разгневанный, она,
Его любовь - греха вина...
Что было тут ему до них?
Ни стонов ропота глухих
На тяжкий приговор судьбы,
Ни помыслов о чем ином,
Как лишь о мире неземном,--
Ни слова, - кроме слов мольбы
Да тех невольных кратких слов,

Когда спокойно был готов
Он топора удар принять -
Слов, чтобы дали умирать
Ему с открытым взором, - сих
Прощальных слов его одних!...

XVIII.

Как смертью сжатые уста,--
Грудь каждого в толпе немой
Была для вздохов заперта...
Но электрической струей
Холодной дрожи ток по всей
Толпе сплотившейся людей

Перебежал,

Когда удар смертельный пал
И порешило лезвие
На век любовь и бытие
Того, кто отжил в этот миг...
Поднялся вздох, но подавлен
В груди насильно каждым, он,
Едва родившийся, затих.
Не слышались ни шум, ни стон;
Лишь топора о плаху стук
Зловеще-глухо раздался.
Но больше - ничего...

Лишь звук

Еще... он резко разлился
В безмолвном воздухе, - как крик
Пронзителен, безумно дик,
Как матери ужасный стон

Над пораженным смертью вдруг
Дитей, - прорезал воздух он,
Сей дикий вопль нездешних мук:
Он из решетчатых окон
Дворца - немую тишь проник
И к небу поднялся тот крик
Отчаянный... И обратил
Невольно каждый взор туда,
Но тщетно... Стихло... Только был
То женский крик - и никогда
Из груди мук душевных боль
Не вырывала вопля столь
Безумного. Кто услышал
Сей стон, - тот верно пожелал
Из состраданья, чтобы он
Был смертный - этот страшный стон!.

XIX.

Пал Уго, и с минуты сей
Его печального конца,--
Ни в залах мраморных дворца,
Ни в темной зелени аллей
Не видно Паризины. След
Ея пропал - и слуху нет
Нигде уж более о ней...
И даже имя то ничей
Язык промолвить не дерзал,
Как бы одно из слов таких,
Какия из бесед людских
Навеки - или страх изгнал,

Иль чувство изгнало стыда.
От князя ж Адзо никогда
Никто ни разу не слышал
Ни сына, ни жены имен.
Никто не знал гробницы их.
Был за оградой мест святых
Их праху угол отведен.
По крайней мере так зарыт
Был рыцарь. Паризины рок
Глубокой тайною покрыт,
Как прах доскою гробовой...
Стяжала ль тягостным путем,
Слезами, бденьями, постом
Она в обители святой
Прощенье неба?... Нож иль яд
Пресекли дни ея?... Молчат
Предания. Иль, может быть,
Без долгих пыток жизни нить
Ея мгновенно порвалась
И грудь от мук разорвалась
При взмахе топора, - едва
Скатилась Уго голова...
Но какова бы ни была
Ея кончина, - умерла
Она печально, как жила!

XX.

И князь женился на другой,
И окружен под старость был
Он добрых сыновей толпой;

Но не был ни один из сих
Сынов столь доблестен и мил,
Как тот, кто тлел в земле сырой;
Иль если были - доблесть их
Холодный взор не примечал:
А примечал, так подавлял
Родитель вздох в груди своей...
Но слез у князя никогда
Не вырывалось из очей.
И никогда его уста
Не озарялись уж потом
Улыбки радостным лучом.
Его высокое чело
Изрыли тяжких дум следы -
Морщины... Горе провело
До срока эти борозды
Горячим плугом. Для всего
Он отжил навсегда; равно
Для радостей и для скорбей.
Ему в грядущем ничего
Не оставалось давно,--
Лишь разве длинный ряд ночей
Без сна и ряд тяжелых дней,
Да равнодушие одно
К хвале или хуле людской...
Его душа давно бежать
Хотела б от себя самой,
Но покориться не могла
Судьбе своей, - а забывать

Способна не была;
Она всегда, в тот даже миг,
Когда, казалось, тишина
В ней водворялася, - полна
Была обычных дум своих,
Дум напряженных, мрачных, злых...
Так льда густой и твердый слой
Покроет лишь поверхность вод,--
Неудержимо ток живой
Под хладною корой течет
И течь не может перестать...
Дух Адзо так же волновать
Не престававал обычный ток
Печальных дум: источник их
Был слишком силен и глубок,
Чтобы, как память дней былых,
Изсякнуть. Тщетно мы хотим
Разлив сердечных волн унять;
Вовеки не изсякнуть им -
И возвращаются опять
Потоки слез непролитых
К источнику - и там на дне
Кипят в душевной глубине...
И пусть никто не видит их,
Тех слез непролитых, - оне,
На сердце падая, опять
Скопляются и тем сильней,
Чем более в груди своей
Мы силимся их подавлять...

Истерзан внутренней тоской,
Воспоминаньями о тех,
Кого казнил за тяжкий грех,
Страдая сердца пустотой,
Ненаполнимой ни на миг,
И без надежды встретить их
Хоть за пределами земли,
При всем сознании, что он
Свершил свой суд, как сам закон,
Что сами гибель навлекли
Они на голову себе -
Был князь под старость обречен
Тоске, мученьям и борьбе...
Могучий дуб, когда порой
Суки испорченных ветвей
Подрежет опытной рукой
Садовник бережно, - сильней
Раскинется под небеса...
Но если в бешенстве гроза
Нежданно ветви опалит,--
Немой развалиной стоит
И сохнет сумрачен и гол
Ветвей навек лишенный ствол.

Аполлон Григорьев.



ПАРИЗИНА.

Стр. 452.

То час, когда из-за ветвей, и пр.

"Первая строфа была напечатана, с музыкой, несколько времени тому назад; первоначально она предназначалась для *Лары*" (Прим. Байрона).

Стр. 454. *Наверно, не одна бы сталь*

Для отомщенья извлеклась

Тому, кто взор ея в те дни

Мог омрачить хотя на миг.

Ср. знаменитую похвалу королеве Марии-Антуанете, в "Размышлениях о французской революции" Борка (1790). "Я видел французскую королеву лет 16--17 тому назад, когда она была еще супругою дофина, в Версалии... Мне никогда и не снилось, что я могу быть свидетелем таких бедствий, какия обрушились на нее среди этой любезной нации, состоящей из честных и рыцарственных людей. Я был уверен, что десяток тысяч шпаг обнажится для того, чтобы отомстить даже за один взгляд, угрожающий ей оскорблением".

Стр. 458.

На роковую красоту

Жены-преступницы...

.....

Вновь взоры всех устремлены.

Меж тем стояла, я сказал,

Тиха, безмолвна и бледна...

"Я послал за *Мармионом*, потому что мне пришло в голову, что есть сходство между *Паризиной* и подобной же сценой во 2-й песне *Мармиона*. Я опасаюсь, что сходство в самом деле есть, хотя раньше я об этом вовсе не думал и едва ли мог желать подражать неподражаемому произведению... Я дополнял свой рассказ выпиской из Гиббона, которая естественно приводит к подобной сцене; но все-таки это представляется мне не совсем удобным", писал Байрон Муррею 3 февраля 1816 г. Сцена в *Мармионе* Вальтер-Скотта, о которой идет речь, изображает появление Констанции Беверлей перед конклавом:

Спокойно взор ея сиял

И твердость духа выражал.

И недвижима, и бледна,

Стояла пред судом она,

И только чуть заметный вздох

В ней обнаружить чувство мог.

Так изваяньем восковым,

А не созданием живым

Казалась взорам всех она,

Безмолвна и как смерть бледна.

(Перевод для наст. изд. П. О. Морозова).